

Ильин И.А.

Когда же возродится великая русская поэзия

Тот, кто просматривает наши русские зарубежные журналы, журнальчики и газеты, наверное не раз замечал, до какой степени русские люди изголодались по словесной гармонии, по поющему ритму стиха. Этот голод естественен и понятен. Вот уже скоро сорок лет, как русская поэзия, задавленная террором и поруганная циничными авантюристами вроде «Демьяна Бедного», Маяковского и других им подобных, прекратила свое пение в подъяремной России. Допевали еще поэты предшествующего декадентски-эротического поколения, пока их терпела советская цензура или пока эмиграция спасала им жизнь. Но новых больших ясновидцев и певцов не появлялось ни в России, ни в эмиграции. Почему?

Казалось бы теперь как никогда, потрясенные и раненые сердца русских людей должны быть открыты для новых вещей слов и песен, для этой поэзии большого созерцания и глубокого

Замысла, для настоящей поэзии. Именно эта поэзия и такая поэзия призвана совершить для грядущей России то самое, что совершили для дореволюционной России Державин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Языков, Тютчев, А. К. Толстой и другие. Казалось бы именно теперь, когда скудные, дэка-декадентски-эротические содержания предреволюционной поэзии отжили свой век и русским людям дан новый опыт подлинного зла, подлинного страдания и предчувствие грядущего величия, следовало бы ждать от русской поэзии настоящих песен и Пророчеств... Где же это все? Почему современные русские поэты молчат о великом и сокровенном и поют старые перепетые перепевы?

Чтобы ответить на этот вопрос надо обозреть пути и судьбы русского народа за последние десятилетия.

Если пересмотреть всю историю человечества, то обнаружится, что коммунистическая революцию в России есть единственное в своем роде крушение и бедствие. Бывали времена тяжкие, мучительные, как Пелопонесская война в Греции, гражданская война в Риме, правление жестоких и развратных Цезарей, эпоха Инквизиции, эпоха итальянского Возрождения, Тридцатилетняя война, первая французская революция... Изучая эти эпохи, читая первоисточники и показания очевидцев, содрогаешься и ужасаешься; и порою кажется, что хуже этого не могло бы быть нигде и никогда. Но когда обращаешься к коммунистической революции наших дней, которую мы вживе и

Въяве переживаем вот уже 37 лет и притом на собственном опыте, быстро приходишь к убеждению, что ничего подобного

Человеческая история еще не видала.

В прежние времена люди хотели власти и богатства — и из-за этого впадали в преступления и злодеяния. В наше время коммунисты, добившись власти и богатства, заняты истреблением лучших людей страны: самая власть их есть злодеяние для всего мира; самое богатство их означает всеобщую опасность и нищету. Но им этого мало: они поставили себе задачу — уничтожить всех, кто мыслит не по-коммунистически, кто верует религиозно, кто любит родину; и оставить только своих рабов. Для этого они выдрессировали (и продолжают дрессировать) целый кадр, целое поколение палачей, садистов и садисток,

Которые и наслаждаются замучиванием невинных людей. И все это — во имя противоестественной химеры, во имя нелепой утопии, во имя величайшей пошлости, которая ничего не сулит людям кроме обмана, разочарования и атомной войны.

О русском народе надо сказать словами Тютчева: «невы

Носимое он днесь выносит»... И справляется он с этим потому, что идет по своим исконным путям, прошедшим его через все его климатические суровости, через все его хозяйственные трудности и лишения и через все его военные и исторические испытания. Эти средства, эти пути суть: молитва, терпение, юмор и пение. Все вместе они создавали и сообщали ему ту особенную русскую выносливость, ту способность приспособляться не уступая, гнуться без слома, блюсти верность себе и Богу и среди врагов и в порабощении, сохранять легкость в умирании, накапливать ту силу сопротивления в веках из поколения в поколение, которая и спасала его в дальнейшем. Так и в современной революции, бесчеловечнейшей из всего исторически известного, русский народ обновляет это свое душевно-духовное умение, как бы унося свои святыни в таинственную глубину своего духовного озера.

Не подлежит никакому сомнению, что революция была срывом в духовную пропасть, религиозным оскудением, патриотическим и нравственным помрачением русской народной души. Не будь этого оскудения и помрачения русская пятнадцатимиллионная армия не разбежалась бы, ее верные и доблестные офицеры не подверглись бы растерзанию; совесть и честь не допустили бы до захватного передела имущества; Ленин и его шайка не нашли бы себе того кадра шпионов и палачей, без которого их террор не мог бы осуществиться; народ не допустил бы до избиения своего духовенства и до сноса своих храмов; и белая армия быстро

Очистила бы центр России. Это была эпоха окаянства, когда коммунисты выбирали окаянных людей для совершения окаянного дела, а народ, вместо того, чтобы молитвенно примкнуть к московскому Церковному Собору и

внять отлучению и заклятию Святейшего Патриарха Тихона, разучился молиться и внимать совести, помышляя только о кровавой мести и темном прибытке.

Но вот, революции суждено было не удовлетворить вожделения русских масс, а разочаровать и образумить их. Это разочарование пришло к ним в жесточайшем виде — в виде трехлетней гражданской войны с ее грабежами, эпидемиями, ожесточением; в виде массового расстрела лучших людей,

Искусственно организованного голода, доходившего до вымирания и людоедства, в виде террора, свирепой коллективизации и концентрационных лагерей. На открытое сопротивление решались только вернейшие и храбрейшие. Народные же массы предали безбожному ожесточению, и лишь медленно, очень медленно, после распыления, разоружения и изъятия земли, начали понимать, что главный поход идет на них, что они сами обречены на небывалое рабство, на нищету и голод или просто на смерть. Но возможность сопротивления была уже упущена: народ был

Уже обезоружен, а кадры партии, комсомола, бесчисленных

Доносчиков и политической полиции (Чека, Гепеу, НКВД, МВД) были уже сплочены и вели повальный террор, сами находясь под вечным страхом. «Гулаг» открыл свои необъятные недра; и русскому народу оставалось одно: уйти в себя, развернуть столь же необъятные недра своего терпения, научиться узнавать «своих» молча, организовываться полу-молча, перетирать коммунистические цепи энергией своей выносливости и ждать исторической «конъюнктуры» для освобождения.

Всем этим и объясняется та смена путей, которую мы наблюдали за эти десятилетия: преобладание юмора в начале,

Переход к терпению в дальнейшем, и, наконец, возврат к вере и молитве. А поэзия (пение) ждет еще своего часа; для нее время еще не пришло.

Кто из нас не помнит этого неистощимого, отчаянного юмора, которым русские люди пытались преодолеть безумие и лишения первых лет? Тогда желтые тысячерублевые бумажки назывались на базарах «косыми» в издевательство над косым Лениным... Как поганки в гнилом лесу лезли отовсюду слова неслыханного на Руси жаргона, начиная с «совдепа» и «совнаркома» и кончая такими издевательскими перлами, как «помучкота» (помощник участкового комиссара трудовой армии) и «замкомпоморде»

(заместитель комиссара по морским делам). Тогда и новое

Гнусное название русского государства «РСФСР» истолковывалось по-своему: «Редкий Случай Феноменального Сумашествия Расы».

Из уст в уста передавались хлесткие частушки; ходила по рукам бойкая «поэма»: «Маркс в России», кончавшаяся тем, что Маркс публично плевал своему огромному памятнику в лицо; и самая

Смерть обозначалась словами «сыграть в ящик»... Отовсюду подмигивал людям юмор висельника...

Но время шло. Террор становился все круче и безумнее. Дерзновенный юмор стал осторожнее, научился прятаться и первенство осталось за терпением: народ принял свое новое,

Неожиданное и неслыханное иго.

Ему «не хватило» свободного терпения для того, чтобы честно и твердо закончить войну: «похабное» прекращение ее казалось

Ему «спасением». Ему не хватило свободного терпения для того, чтобы довести до конца аграрную реформу Столыпина: захват и погром сулили ему «необозримые земли», а социалистические партии (социалисты-революционеры и большевики) уговаривали торопиться. Ему не хватило свободного терпения для того, чтобы верно и постепенно усвоить заливавший его поток всяческого, всестороннего образования; уровень этого образования казался ему слишком высоким, надо было отвергнуть веками выношенное, культурно-драгоценное, но невежде «ненужное» правописание, надо было довести гимназию до безграмотной толчи, а высшие учебные заведения до пропаганды коммунистического бреда и до усвоения элементарных технических навыков. Не хватило добровольного терпения для строительства России; хотелось «простоты», «легкости», «скорости», хотелось не учиться, а наживать; хотелось не «устраиваться» и «обзаводиться», а схватить и завладеть; манило «несосветимое» богатство — которого не было, земельное, торговое, промышленное, денежное; лень нашептывала, революционная демагогия взывала, правосознание было очень скудно, а освобождение от государевой присяги развязало все удержки. И наказание не замедлило.

Замысел Ленина и его банды был таков: деморализовать

Солдата, матроса, земледельца и рабочего, ободрить захватчика, попустить разбойнику («грабь награбленное») — и затем задавить деморализованного, превратив его в голодного, запуганного и покорного раба; подорвать свободное терпение народа, превратить его в бунтующую чернь и тогда возложить на него вынужденное терпение, рабскую терпеливость без конца и меры. Этот замысел удался. И вместо России стало строиться новое, безбожное, безнравственное, тоталитарное, коммунистическое. Ныне народу надо быть готовым в нем всегда и ко всему. В нем терпение перестает быть

выражением духовной свободы, но становится проявлением страха и инстинкта самосохранения.

В замысле коммунистов неверно все: начиная от религиозного опустошения души и кончая варварской попыткой строить культуру на страхе и порабощении; начиная от попрания личного начала и личной творческой инициативы и кончая принудительным «мировоззрением»; начиная от пошлой цели и кончая порочными средствами. Здоровому, идейному человеку здесь все неприемлемо, все чуждо, все угнетающе; и потому все это должно было быть навязано ему. Со времени водворения этих людей у власти прошло 37 лет и никакие внутренние и внешние осложнения и катастрофы не могли доселе освободить русский народ. Другие народы не могут и представить себе ту степень унижения, с которой пришлось ему мириться, и тот запас терпения, который от него потребовался. Сколько раз русским людям казалось, что другие народы (немцы, англичане, поляки, американцы!) должны будут однажды вмешаться и «освободить» Россию; и каждый раз эти мечты оказывались беспочвенными. Русским людям надеяться не на кого, кроме Бога и своих собственных сил. Но чтобы найти в самом себе необходимые для борьбы силы и умение, необходимо отчаяться во всем и во всех, кроме Господа; необходимо восстановить свою религиозную веру как таинственный и живой ключ духовной жизни. И все партии и организации без исключения, — как подъяремные, так и зарубежные, — которые не обратятся к этому источнику, могут быть заранее уверены в ожидающем их неуспехе.

Этот процесс возвращения к вере и молитве давно уже начался в России: против абсолютного зла, против неизбывного

Страха, против беспомощного отчаяния есть только одна единственная абсолютная опора — искренняя и цельная религиозность, несущая с собой силу молитвы и силу покаянного очищения. Это надо понять и прочувствовать до конца. Нечего братья за освобождение и восстановление России без совести; а совесть живет только в искренней и цельной душе, где она звучит как голос Божий. Надо смыть позор своих преступлений, сорокалетних унижений, и следы вынужденного страхом приспособления; а для этого необходимо религиозное покаяние. Надо смыть в душе черное бесчестие прошлых лет и вновь поверить в свою собственную непоколебимую честь и полную честность, чтобы восстановить доверие к самому себе и научиться узнавать людей заслуживающих доверия; а это возможно только перед лицом и судом Божиим. После всего пережитого и выстраданного надо искать и найти пути к Богу. Пути безбожия, бессовестности, бесчестия и дьявольской лжи исхожены и изведаны: они обличены и оказались погибельными. Необходимо глубокое обновление душ, и никакие модные лозунги и никакое политическое пустословие его не

заменяют: ни «демократия», ни «федерация», ни «свобода», ни «равенство», ни «братство», ни иное что-либо.

И вряд ли мы ошибемся, если скажем, что смысл происходящего ныне в России и состоит в конечном счете в этом прикровенном, тайном возвращении к вере и молитве. И лишь по мере того, как это религиозное возрождение будет совершаться, откроются и пути к воскресению русской поэзии.

II

Великая русская поэзия возродится тогда, когда в русской душе запоет ее последняя глубина, которая укажет поэтам новые, глубокие темы и дарует этим темам свою форму, свой ритм, свой размер и свои верные, точные слова. Эта священная глубина уже дана русскому человеку и обновлена в русской душе — и притом именно трагическим опытом последних сорока лет; но она еще не принята русскими людьми, русским созерцающим сердцем и поэтому еще не запела в русской поэзии. Однако, это время близится...

Первое и основное в искусстве это Предмет и его содержание: что именно ты чувствуешь? что ты видишь? о чем хочешь сказать? Все русские великие поэты сосредоточивали свой чувствующий опыт на том, что есть главное, важнейшее или прямо священное в жизни мира и человека. Они созерцали Божье; и взволнованное, умиленное сердце их начинало петь. Это поющее сердце приносит их поэзии все остальное, без чего стихотворение не есть стихотворение, и потому у них нередко делалось такое чувство, что и слова, и размер строки, и ритм, и рифма приходят к ним «сами».

Надо постигнуть это и убедиться в этом раз и навсегда: поэзию творит сердце. Выдуманное стихотворение на манер

Василия Тредьяковского или Валерия Брюсова не может петь; оно будет прозаично, сухо, мертво; оно не создаст поэзии; оно даст только рифмованные строчки. А размеренным и рифмованным строчкам далеко еще до поэзии. Поэзия требует совсем иного, гораздо большего: она требует поющего сердца. Поэтому и тому поэту, который попытается жить одним воображением, на манер Бенедиктова, не вкладывая в свой опыт сердечного вдохновения, удастся в лучшем случае создать верное и подробное описание природы или людей; но это описание не увидит и не покажет сокровенную глубину описываемого и не пойдет дальше хорошего протокола. Подобно этому и волевой опыт (Гумилев) не заменит опыта поющего сердца: сколь бы велика ни была

Напряженная решимость воли, она вызовет у читателя в ответ (в лучшем случае) волевое напряжение и будет восприниматься, как рифмованная проповедь, как властное поучение, но не как поэзия.

Это не означает, что подлинная поэзия не нуждается ни в чем, кроме поющего сердца. Наоборот — она требует всего человека: она вовлекает в жизнь чувства (сердца) — и волю, и мысль, ибо поэзии свойственно желать до воспламенения и мыслить до самой глубины. Но важнейшее и главное есть поющее сердце, и все иные силы и способности должны подчиниться ему и проникнуться его живоносной струей, его пением, его мелодией.

Так было в русской классической поэзии и восемнадцатого и девятнадцатого века. И это было тогда же осознано и выговорено Гоголем (гл. XXXI «Переписки с друзьями»: «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»). Он пишет, между прочим: «Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг» и «восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше — он создал ее». Уже Ломоносов творил как «восторженный юноша»: «всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной»... Державин творил великое дело только в состоянии «одушевления», «напряженного силой вдохновения»... Даже у Капниста проявился «аромат истинно душевного чувства»... А вот «благоговейная задумчивость Жуковского» «исполняет все его картины» особого «греющего, теплого света»... А Пушкин был сам «точно сброшенный с неба поэтический огонь, от которого, как свечи зажглись другие самоцветные поэты»...

Итак, великая русская поэзия была порождением истинного чувства, восторга, одушевления, вдохновения, света и огня, — именно того, что мы называем сердцем и от чего душа человека начинает петь (Веневитинов, Языков, Баратынский, Лермонтов, Тютчев, Хомяков, граф А. К. Толстой и другие). К сожалению, этот огонь сердца начал меркнуть во второй половине XIX-го века. Еще дают незабвенное Майков и Апухтин. Но уже холодным, словесным гарцованием веет от Бенедиктова: уже

Мыслью, волею и политическим напором слагает свои стихи

Некрасов, а чувство Фета блекнет и все более принимает чувственно-эротическую окраску. Все бледнее становятся создания Полонского, Плещеева, Надсона; и место этой поэтической бледности уже торопятся занять последние предреволюционные эротически-декадентские поэты. Сердца поэтов все реже отзываются на величие, на божественный состав мира, на узрение его таинственного естества, на молитву, на

Трагическое; они все менее парят, исповедуют, дивуются и

Благодарят; наоборот, они все более предаются сентиментальности, жалобе, «гуманности», «социальности», протесту, скрытой политике, «народничеству», революционности... В них все меньше огня и пеня, все больше утилитаризма, тепловатости, прозы, злобы дня, утомления и отвращения. Слагается поэтический тупик, из которого ищут прорыва предреволюционные декаденты.

Замечательно, что вместе с изживанием великого сердечного созерцания, мельчают и самые содержания поэзии: «сенти Ментальность» роняет слезу на быт повседневности и не преображает, и не раскрывает его; «гуманность» сосредоточивается на человеке и не парит над миром и не возносится к Богу; социальный протест получает свои задания не свыше, а от политической партии; народничество уводит поэта в одно

Стороннее преувеличение и в отвержение, а революционность — к злобе и мести. Поэты теряют доступ к Божественному; остается одно человеческое; а из человеческого они начинают все более склоняться к чувственному эротизму.

Поэзия последнего предреволюционного периода почти уже не поет: она выдумывает вместе с Брюсовым и мечтает и декламирует в стихах Бальмонта, безвкусно лепечет или лопочет

Вместе с Андреем Белым, беспредметно и туманно фантазирует вместе с Александром Блоком, несет эротическую «третьяков-ттиную» вместе с Вячеславом Ивановым, пытается утвердиться на «железной воле» вместе с Гумилевым и Кречетовым, и безвольно предается личным страстям вместе с Ахматовой и Городецким. А под конец она впадает в безграмотно-развратную манеру Игоря Северянина, в продажный и бесстыдный бред Маяковского, в шепелявое неистовство Волошина, и в хулиганское озорство

Есенина. И только один имел еще доступ к Предмету и нередко

Получал от него и содержание и форму — это Федор Сологуб

(Тетерников).

Все, или почти все остальные не творили поэзию, а предавались стихослагательству (талантливые импровизировали подобно Бальмонту, бездарные — высиживали, подобно Брюсову). Они выдумывали «изыски», изобретали небывалое, старались по меткому слову Ходасевича «идти как можно быстрее и как можно дальше», считая, что поэту все позволено; и потому предавали поэзию насилию и поруганию. И почти все не умели различать добро и зло; и почти все готовы были поклоняться дьяволу. И действительно это была уже не поэзия, это было «вирше-пле-тение», подчас — беззастенчивая лаборатория словесных фокусов. Последыши всего этого

течения, оставшиеся под советским ярмом, были сначала куплены и разыграны, а потом раздавлены большевиками... Русская поэзия последних десятилетий выдыхалась, вырождалась, гасла и исчезала.

Мельчали ее темы и содержания. Они мельчали потому, что пустому рассудку, разнузданному воображению и холодной воле великие предметы никогда не давались и не дадутся. Эти все неверные «органы», не поющие «акты», безнадежные попытки создать «новое» и «великое» из собственной скудости или из бессмысленного праха вещей. Если «поэту» все позволено, то он становится безответственным болтуном. Безразличный к великому и божественному, он неизбежно делается наслаждением и кокетливым хвастуном: он начинает рассказывать про свою

Личную чувственную эротику и притом в формах все возрастающего бесстыдства. А если ему удастся найти себе властного покупателя, то у него остается одна забота — угождать своему «хозяину».

Поэтому, первая задача настоящего поэта углублять и оживлять свое сердце; вторая — растить, очищать и облагораживать свой духовный опыт. Это и есть путь к великой поэзии. Конечно, выше лба уши не растут и далеко не всякому дано иметь великий опыт для великой поэзии. Но надо помнить, что из скудости и праха повседневной жизни, из безответственности и тщеславия декаденства — вырастает только дурная поэзия. Невольно вспоминаются развязные строчки Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора — Растут стихи, не ведая стыда». Конечно, бывает и так; но только это будет сорная и бесстыдная поэзия. Возможно, что именно такая поэзия и «нравится» кому-нибудь. Нашлась же именно в эмигрантском журнальчике «Грани» какая-то Тарасова, которая написала революционную (!) апологию (защиту, прославление) безобразнейшему из хулиганов-рифмачей нашего времени Маяковскому, которого мы все знали в России как бесстыдного орангутанга задолго до революции, и гнусные строчки которого вызывали в нас стыд и отвращение. Советский «вкус» — извращенный вкус; люди этого «вкуса» и не подозревают, что кроме чекистских, революционных критериев есть в поэзии еще и иной, высший, художественный критерий и что этот критерий решает не потому, что кому «нравится», а по степени объективного совершенства. Когда-то Блок провозгласил двенадцать пьяных и развратных матросов-грабителей — «апостолами Христа» — и пожизненно стыдился своего мерзкого кощунства. Ныне Маяковский сам посмертно провозглашается «тринадцатым апостолом». И пока русские люди не научатся стыдиться таких кощунств — великой поэзии им не видать. Пока им нравится болтовня Есенина, кощунственно написавшего на стене Страстного Монастыря слова «бог, отелися!», до тех пор русская поэзия не сумеет оторваться от грязи и пошлости.

Великая поэзия ищет благоговейным сердцем Божественного, — во всем; и находит; и из него поет. Лучи этого Божественного можно и должно находить во всем; и найдя, надо в них пребывать и из них «говорить». Один из талантливейших европейских поэтов Йозеф фон-Эйхендорф высказал это так: «В каждой вещи песня дремлет, — Мир, исполнен тайных снов, — Твоим зовам вещим внемлет — И запеть всегда готов»... Но зов должен быть именно «вещим», властным зовом сердца; при его звуке с вещей слетает прах и пошлость — они начинают раскрывать свою священную сущность. Как бы перекликаясь с Эйхендорфом русский незабвенный поэт граф А. К. Толстой поясняет: «Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков, — Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света, — Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать, — Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово, — Целое с ним вовлекает создание в наш мир удивленный»... — И вот опыт революции призван возродить такое духовное созерцание.

В Евангелии повествуется о том, как Христос исцелил слепорожденного, возложив на его глаза некое «брение» и велел ему умыться в купальне Силоам; и тот прозрел. Революция

Символически подобна сему брению: она возложена на наши

Глаза, чтобы мы прозрели. Но надо восхотеть этой духовной

Зрячести и молитвенно просить о ней: чтобы «отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы»... и чтобы нам подлинно

Увидеть тот смысл, что скрыт за этими тяжкими годами мучительства и позора...

Для этого русские люди должны прежде всего отрешиться от тех пошлостей, которые им натверживают коммунисты, — от революционных критериев, от классовых мерил, от безбожия, от «диамата», от фальшивого воззрения на родину, семью, науку и собственность. Все эти пошлости необходимо постигнуть, как мертвые и ничтожные, и вычистить их из души и из мирозерцания. Надо понять, что все это был соблазн, приведший к Гулагу и к Воркуте; что все это яд, впрыснутый нам врагами России; и что мы призваны, очистив от него душу, восхотеть в жизни Главного и Священного, и открыть ему сердце. Тогда оно запоет; но не раньше.

Тогда мы спросим себя, вместе с Ломоносовым, — откуда в мироздании эта дивная мудрость? Вместе с Державиным — как нам постигнуть Бога и к чему Он призывает государственных правителей? Мы признаем вместе с Жуковским, что человеческое сердце есть сущий источник благожелательства и нежности. Мы увидим, как Пушкин «исторгает из всего, как ничтожного, так и великого одну электрическую искру того

поэтического огня, который присутствует во всяком творении Бога — его высшую сторону, знакомую только поэту» (слова Гоголя). Мы научимся восторгу у Языкова, мировой скорби у Лермонтова, ощущению бездны у Тютчева, патриотической любви у А. К. Толстого. И более того. Грядущие русские поэты сумеют спросить историю о нынешнем крушении России, осветить нам как молнией исторические раны русского народного характера, показать своеобразие и величие русского духа и глубину Православной веры; и многое другое важнейшее и главнейшее в жизни человека. Все силы и все опасности, все дары и все соблазны русского духа ждут света и мудрости от великой русской поэзии. Ждут и дождутся.

Но что же это значит, неужели мы осуждаем и отвергаем всю современную русскую поэзию, столь обильно расцветающую во всех странах нашего рассеяния? — О, нет, нисколько! Наоборот! Мы видим в ней залог грядущего. Мы видим сквозь нее, как изголодалась русская певучая душа по свободной, ненавязанной и не контролируемой поэзии. Всюду, где слагаются у нас поэтические строки, — а кто теперь не пытается запеть в русских дивно-певучих и дивно-богатых словах? — мы видим тоску по родине, живое ощущение творческой национальной силы, мечту о новой России, потребность воскресить наше угасшее пение или хотя бы посылить возобновить его. У нас сейчас не все удачно, не все значительно, не все стихотворно на высоте; но зато (за редким исключением) здесь почти все идет из любящего и тоскующего сердца, все создает атмосферу для великой грядущей поэзии. Надо только освободиться от обывательства и от подражания плохим поэтам, надо беречь огонь сердца, укреплять свое чувство ответственности и превышать требования, предъявляемые к самому себе.